

# Новая Польша 3/2010

## 0: ИЗ ОПЫТА МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Сразу же сделаю оговорку: я не могу назвать себя полноценным участником польского движения протеста 1968-го, потому что уже на второй день тех событий была арестована и оказалась в тюрьме, а вышла на волю, когда движение было полностью задушено. Тем не менее 1968 год наложил отпечаток на всю мою жизнь и на жизнь моих товарищей и ровесников настолько, что по сей день мы узнаём друг друга и ощущаем связь, скрепляющую нас как членов «поколения 68-го».

Мы ощущаем взаимное сходство в подходе ко многим вопросам, а также априорное понимание и симпатию у представителей того же поколения в других странах Востока, равно как и Запада. При этом мы сознаём, что нас различает, и знаем, что эти различия разделяли нас и в прошлом. Некоторые из них появились с течением времени, тогда как другие — со временем стерлись.

С перспективы целой жизни, по прошествии сорока лет, мы можем сказать о себе — как всего лишь несколько поколений в европейской истории, — что мы выпорхнули из одного гнезда или, по крайней мере, что наши гнёзда были соседними на одной ветке того же дерева. Так могло сказать о себе поколение 1812-го — года великой наполеоновской эпопеи, которая для молодежи из таких стран как Польша, лишенных государственного суверенитета, выглядела поначалу большим освободительным приключением. Про этот год говорил Адам Мицкевич: «И в жизни только раз я знал весну такую» (пер. С.Мар). Мы тоже, невзирая на богатый последующий опыт, можем так сказать про 1968 год.

Иосиф Бродский, *anima naturaliter* индивидуалистическая, метче всех определил элемент, характеризующий следующее — наше — поколение всемирного движения протеста, поколение 68-го. Родившийся в 1940 г. в коммунистическом Ленинграде, поэт взрастал в СССР, но не кто другой, как он, описал — на своем примере — тот порыв к свободе, который был определяющим для нашего поколения на Востоке и на Западе.

Бродский говорил только от своего имени, он старался интеллектуально «оторваться от противника», создать собственный духовный мир, полностью суверенный, в котором не было бы зависимости ни от коммунистов, ни от антикоммунистов, ни от диссидентов, ни от аппаратчиков, людей власти или конформистов, а в искусстве — от эстетов, антиэстетов и от преходящей ангажированности, будь то художественной или внехудожественной.

В нашем (польском) случае это проявилось рано. Это была **жажда свободы**. Мы не в состоянии объяснить, откуда она взялась. Уже в школе мы анализировали каждое политическое событие в мире и в Польше, безотчетно и инстинктивно задаваясь вопросом: а каким образом оно соотносится с нашей жадой свободы? Удастся ли этот опыт перевести и усвоить, а затем и использовать здесь, в Польше, в нашем стремлении выбраться из тяжкого положения. Так мы обсуждали книги и политические события. У человека, созревшего в те времена, первой подавала голос «генетическая жажда свободы».

Это название принадлежит как раз Иосифу Бродскому.

Эта воля к свободе выразилась в неприязни к любым строгим правилам, дисциплине, приказам. Мы не любили школу, сбегали с уроков, нас злила и раздражала необходимость носить школьную нашивку, форму, белые воротнички. Мы не думали о карьере, о так называемой малой стабилизации, т.е. той жизненной модели 60-70-х, что была предложена правительством и официально пропагандировалась. Нас отталкивали образцы мелкобуржуазной жизни, ее чаяния, в том числе — и, пожалуй, прежде всего — в ее коммунистическом варианте. Мы не хотели обогащаться, нагромождать мебель и картины, не мечтали о телевизоре и автомобиле, у нас вызвала отвращение так называемая борьба за кресла, посты, престиж. Нам не нравилось думать о будущем, планировать его, так как мы не хотели отречься от свободы, вступая на заранее проложенный жизненный путь: школа — учеба — семья — карьера — благосостояние — безопасность. Мы предпочитали автостоп, свободную любовь. Нам хотелось полной свободы. Жизнь должна была стать приключением, поисками всё новых и новых впечатлений.

В этом смысле бросается в глаза сходство польской молодежи и того же поколения на Западе, породившего политических мятежников и хиппи. Различия, естественно, тоже существовали. На Западе бунт 68-го был больше всего бытовым бунтом: он ввел в обиход новый стиль жизни, новые моды, а главное, распространил новые нравы и стандарты в сексуальной жизни, в жизни женщин, в семейной жизни, в отношении к молодежи и

молодости, вообще в положении молодежи, придав ей особое значение и приковав к ней внимание. С той поры никто уже не хотел быть старым, а молодежь не собиралась отказываться от своего центрального места в обществе. Движение за освобождение женщин привело на Западе к прочному изменению их роли, социального и профессионального статуса, а также личной ситуации. Стали требовать равноправия гомосексуалисты и во многих странах достигли его. В США, особенно в Сан-Франциско и Нью-Йорке, они изменили лицо городов. Их демонстрации превратились в красочные карнавалы, прибавляя им сочувствующих. Перелом в движении гомосексуалистов произошел вместе с распространением СПИДа в 80-е годы. В обществе параллельно распространению болезни возрастало понимание и сочувствие к ее жертвам, укрепляя тенденцию к равноправию так называемых сексуальных меньшинств. Иначе происходило в Польше. Равноправие женщин и признание их свободы, особенно в интеллигентской среде с помещичьими традициями, было свершившимся фактом, который вытекал из истории страны, лишенной свободы, причем трагические последствия этого зачастую понесли главным образом женщины, возлагая на себя бремя обязанностей главы дома и семьи ввиду недостаточной заботы мужчин и опоры на них — сражающихся, бросаемых в тюрьмы или же деклассированных и лишенных имущества. Та модель освобождения от нравственных запретов, а также от бытовых норм и обычаев, которая распространилась в нерелигиозных интеллигентских кругах Польши, особенно среди тех, кто протестовал в 1968 г., заметно отклонялась от западной.

Почему движение протеста 1968 г. приобрело в разных странах столь несхожую направленность? Эта проблема заслуживает анализа. Ограничусь здесь указанием только одной причины: в Польше точно так же, как и в США, бунт студенчества был выражением недовольства существующим политическим порядком, который вызывал моральное отвращение (в США он характеризовался серией убийств — сначала президента США, а затем в одном только 1968 г. Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди — или, скажем, призывом в армию, воюющую во Вьетнаме; в Польше — известно чем, а если кому-то неизвестно, то я стараюсь многое объяснить в данном тексте). Однако польской спецификой было то, что в 1968 г. наша жажда свободы, в противоположность французскому, итальянскому и американскому движению протеста, не сочеталась с политической мечтой о перевороте, восстании или революции.

Что я хочу этим сказать? Прежде всего я стараюсь пояснить, что у нас отнюдь не преобладал элемент неразумного и запальчивого бунта — в противоположность тому, как это изображали пропагандисты, а также тогдашние режимные вузовские клерки, которые верили, будто свободу в науке и образовании можно спасти ценой повиновения в политическом преподавании, что привело к студенческому митингу 8 марта 1968 г., а затем и к карательным действиям в польских вузах, особенно в Варшавском университете.

Наша позиция начала выстраиваться намного раньше. В сущности, интеллектуально и политически нас сформировал октябрь 56-го.

Нам было тогда по десять лет. Но тот глоток октябрьских свобод оказал решающее воздействие на наше развитие. В какой-то момент, еще в школе, мы ощутили почти физически, что начинаем задыхаться. Грянули суды над писателями. В прессе их атаковали чрезвычайно грубо, зачастую анонимно, так как авторы этих текстов чувствовали, что не вызывают симпатий. Стали репрессировать и журналистов. Отец нашей подруги Агнешки Холланд выпрыгнул в окно, когда гэбэшники явились к нему домой с обыском. Пятнадцатилетний Адам Михник присутствовал на похоронах, которые превратились в антипартийную демонстрацию друзей Генрика Холланда, «людей октября», так называемых ревизионистов. Естественно, эта смерть воспринималась как политическое убийство. Я говорю об этом потому, что чувство удушения свобод тогда испытывали не только мы; оно наблюдалось и у наших родителей и тех членов ПОРП, кого именовали ревизионистами, — иногда это были высокопоставленные представители партаппарата, принадлежавшие к поколению 56-го года; они были идейными коммунистами и питали благие политические намерения. Эти партийцы верили, что благодаря им Польша стала в 1956 г. самой открытой и либеральной из социалистических стран. То были люди, которые провели преобразования октября 56-го и сознавали, что в Польше реформирование коммунизма зашло очень далеко. Мощным было влияние Церкви. Землю коллективизировали лишь в незначительной части, и в довольно крупных масштабах существовала мелкая частная собственность, мелкое ремесло и производство. В стране выдавались заграничные паспорта, люди путешествовали на Запад, были доступны иностранная пресса и книги. Тогда говорились: «Польша — самый веселый барак в лагере». Но эта ситуация начинала близиться к завершению. Когда я сдавала экзамены на аттестат зрелости, возникло дело о письме 34-х. Мы знали, что письмо направлено против цензуры. Знали, что имеют в виду эти писатели на самом деле, когда пишут премьер-министру о нехватке бумаги. Газеты и журналы периода «польского Октября», читавшиеся в городских библиотеках «задним числом», когда эти издания уже не существовали, были той литературой, которая нас формировала.

Когда мы учились только-только на первом курсе Варшавского университета, в самом начале второго семестра, Куронь и Модзелевский попали в тюрьму. В первый раз оказались тогда под следствием и попали за решетку также Адам Михник и Северин Блюмштайн. Им не исполнилось еще и 19 лет.

До 1968 г. мы успели убедиться, что политический курс партии и правительства неуклонно заостряется. Тенденция шла только в одном направлении — уничтожить ту свободу слова и убеждений, которую общество получило в 1956 м. В 1966 г. власть объявила гротескную войну Церкви, устроив охоту на чудотворную икону Божией Матери Ченстоховской, Черной Мадонны, Царицы Польши, которую паломники несли через всю страну на плечах, чтобы тем самым почтить и ознаменовать тысячелетие польского государства. Параллельно с этим была организована настоящая облава на епископов, которые по тому же поводу обратились с посланием к немецкому народу через немецких епископов с памятной многим просьбой взаимно забыть и простить все обиды, нанесенные в прошлом. Гомулка, который в тот период стремился к утверждению мирного договора с Западной Германией, санкционирующего границу Польши по Одре и Нисе, выбрал — вместо жеста забвения и прощения — шовинистические нападки на западногерманские политические центры. Тем самым первый секретарь ЦК ПОРП, получив гарантии западной границы Польши, установленной после II Мировой войны, демонстрировал Советскому Союзу свою готовность к поддержке ялтинской системы. В 1967-1968 гг. та же самая власть выступила против интеллигенции. В той войне она использовала пропаганду мракобесия и ненависти. Антисемитизм широко распространялся официально — путем проведения расовых чисток в аппарате власти и в армии с того момента, как в июне 1967 г. разразилась Шестидневная война. Одновременно клеймили идейных коммунистов, лиц еврейского происхождения и тех ценимых в стране представителей культуры и искусства, которые критически относились к режиму. Для тех исключительно ограниченных людей, что стояли тогда у власти в партии и правительстве, польская интеллигенция — с ее высокими принципами, дворянской родословной и такими рыцарскими нравственными ценностями, как благородство, мужество, служение обществу, а главное, привязанность к свободе — стала последним препятствием на пути к восстановлению полной диктатуры над духовной жизнью общества. Последние анклавные октябрьские свободы находились тогда в Варшавском университете или у литераторов, в их творческих объединениях (Союзе польских писателей и ПЕН-клубе). Мы не питали и тени сомнения в том, что партия и органы ГБ объявили решительный бой интеллигенции, сочетая эту войну с собственной внутренней фракционной борьбой.

Нам тогда лозунг революции нравился. О революции открыто говорили на Западе, где она принадлежала к традиционным требованиям левых. А левые в Европе вышли из II Мировой войны укрепившимися благодаря компрометации правых и надежде на обновление жизни и европейской цивилизации. Левые обещали мир. Они выдвинули лозунги социальных перемен. Западная интеллигенция была восхищена силой СССР, и, несмотря на то что после войны они подсыпали зерно голубям мира, утрамбовывая почву под ялтинские границы восточной империи, ее развитие действовало на эмоции этих людей — китайским Великим походом и переворотом Фиделя Кастро; потом их очаровал Че Гевара. Они с восторгом говорили о «культурной революции» в Китае, и она тоже нравилась западным левым, уже немножко разочаровавшимся тогда в Советском Союзе, особенно после откровений Хрущева о сталинизме и кровавого подавления восстания в Будапеште.

Итак, революция нравилась нам естественно, в силу повсеместных тогда миазмов левой идеологии, которым поддавались и мы. Нас воспитывали в культе борцов за свободу в Испании 1936-1939 гг., польских национально-освободительных восстаний, антиколониальных войн. В США убили молодого президента вместе с молодой надеждой, во Вьетнаме со времен наших выпускных школьных экзаменов продолжалась война. Во всем мире и у нас тоже вместе с разочарованием в существующем политическом порядке нарастала тоска по радикальным переменам.

Но мы жили и возрастали в Варшаве, а в Варшаве того времени нельзя было не видеть, что такое восстание и какую за него платишь цену. Варшавское восстание сделалось для нас вторым после октября 56 го формирующим мифом, а нашим наставником и идеалом стал Ян Юзеф Липский, повстанец из полка Армии Крайовой «Башня», друг Януша Шпотанского